

*А. Г. ВАСИЛЬЕВ*

## **«ПАДЕНИЕ ПОЛЬШИ» И МОДЕЛИ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ ТРАВМЫ**

Настоящая статья посвящена польской исторической мысли эпохи разделов в перспективе «мемориальной парадигмы» социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы<sup>1</sup>. В ней будет рассмотрен тот вклад, который внесли польские историки XIX века в формирование и поддержание польской национальной идентичности.

Учёным, писателям и поэтам, художникам, музыкантам принадлежит решающая роль в процессах «изобретения» и «воображения» наций. У «польского случая» есть в этой связи свои особенности. С одной стороны, в распоряжении польских деятелей науки и культуры было богатое историческое прошлое и культурное наследие утраченного государства, но с другой стороны, их усилия не имели государственной поддержки, а, напротив, встречали противодействие властей стран-участниц разделов. «...Интеллектуалам и элитам, – писал Э. Смит, – необходимо было рассказать польские воспоминания, символы, мифы в польской поэзии и музыке, тем самым пробудив и усилив народные этнорелигиозные чувства миллионов поляков и таким образом реконструировав и по-новому истолковав польское культурное наследие применительно к современным условиям»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> В отличие от традиционных историографических работ, отправными точками для нас были не личности учёных и не принятое в истории науки деление на школы и направления, а нашедшие отражение в историографии стратегии мемориализации и детравматизации прошлого. Из современной обобщающей литературы о польской историографии в целом см.: *Grabski A. F. Zarys historii historiografii polskiej*. Poznań, 2000; *Nation and History. Polish Historians from the Enlightenment to the Second World War* / Ed. by P. Brock, J. D. Stanley, P. J. Wróbel. Toronto etc., 2006.

<sup>2</sup> *Смит Э.* Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. С. 244.

К этому стоит добавить, что историческая наука играла здесь не меньшую, чем искусство, роль. Рисуя картины великого прошлого народов, обосновывая права на территории, история в XIX в. повсеместно играла роль решающего источника легитимации прав наций на существование и независимость в определённых границах. Кроме того, утрата государственности в последней трети XVIII века привела к тому, что именно историческому сознанию принадлежит значительный перевес в структуре польской национальной идентичности. Сама национальная идентичность строилась в первую очередь в связи с определённым отношением к прошлому, а её характер самым непосредственным образом зависел от трактовки причин падения страны. Однако вначале остановимся на нескольких взаимосвязанных «проблемных узлах», составляющих теоретико-методологическую основу такого анализа.

\*\*\*

История и память некогда были тесно взаимосвязаны, однако в XIX в. стремящаяся к дисциплинарной самостоятельности история постаралась максимально дистанцироваться от памяти как от субъективной и избирательной формы репрезентации прошлого. Была сформулирована концепция истории как объективной науки, которая, в отличие от памяти, рассказывает «как всё было на самом деле». Основоположник мемориальных исследований социолог М. Хальбвакс в своих работах 1920-40-х гг. также стоял на позитивистских позициях: история должна быть объективной, беспристрастной, абсолютной картиной прошлого, память же субъективна, избирательна, пристрастна, связана с интересами групп. История для Хальбвакса начинается там, где память заканчивается. Исходя из этой логики, «мемориальные исследования» представляли как угроза научной объективности истории. Однако работы М. Фуко и Х. Уайта существенно поколебали образ истории как носительницы объективной и беспристрастной истины, что позволили рассматривать историописание как одну из форм культурной (социальной) памяти<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Ещё в 1912 г. польский историк Вацлав Собеский опубликовал эссе «Пессимизм и оптимизм в польской историографии», где утвер-

Сегодня граница между историей и мемориальными исследованиями (*memory studies*) всё больше размывается<sup>4</sup>. Историческое описание всё чаще трактуется как форма памяти общества, которая в образах прошлого так или иначе отражает социально-политический и духовный контекст своего времени, состояние общественного сознания. «История памяти» задаётся вопросом не об истинности или ложности тех или иных воспоминаний, а о причинах создания, поддержания или изменения определённого образа. В связи с этим формируется новое культурологически ориентированное направление историографических исследований – *история истории*, рассматривающая трансформации, которые совершались в историческом знании с тем или иным событием или лицом, а саму историографию – как носитель *образов-воспоминаний*. Ставится задача выявления и анализа тех культурных смыслов, которыми они наделялись в меняющихся контекстах. *Memory studies* предлагают задуматься и о *социальных рамках памяти самого историка*, о социально-культурной обусловленности того, что и как он будет вспоминать из прошлого.

Данная статья посвящена изучению «гибели Польши» как *образа-воспоминания* польской историографии периода разделов. Историографии большинства европейских стран принимают в это время форму нарративов о национальной, преимущественно политической, истории государства. Историзм и национализм становятся основополагающими факторами, влияющими на характер историографического процесса. Специфическое положение лишённой государственности Польши придавало этим общим закономерностям особую окраску.

Просветительский скептицизм и революционный нигилизм XVIII столетия создали ситуацию «недостаточности традиции». Образовавшийся вакуум пришлось спешно заполнять новыми мифологиями, призванными увести общество от

---

ждал, что мнения историков зависят не столько от результатов их исследований, сколько от психологических условий, в которых они работают.

<sup>4</sup> Как отмечает Б. Шапка, «память» и «историю» следует признать веберовскими идеальными типами, пространство между которыми заполнено множеством смешанных форм. *Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 30.*

опасности социальной атомизации, распада, «войны всех против всех». Когда традиционные династические и конфессиональные легитимации утрачивают действенность, на первый план выдвигаются исторические обоснования общности и единства. Образы исторического прошлого начинают активно функционировать в современности, становятся олицетворением социально-политических идей и программ, а историографические дискуссии – отражением дискуссий вокруг актуальных проблем общественной жизни.

XIX столетие стало «веком истории». История в это время активно профессионализируется, превращаясь из любительского занятия в признанную академическую дисциплину, претендующую на официальный статус и правительственную финансовую поддержку. В эпоху модернизации, стремительной экономической, социально-политической и духовной перестройки научно удостоверенная «изначальность», древность той или иной формы общности, социально-политического института, нормы приобрели особый вес, а историки, способные эту «исконность» удостоверить, – особый авторитет. Получает развитие дискурс об «исторических правах» наций на существование, на обладание определёнными территориями, или (как в польском, итальянском и немецком случаях) – на национальную государственность вообще.

Наиболее универсальной формой культурной идентичности эпохи модерна стала нация. Национальная идентичность пришла на смену уходящим общностям, основанным на принципах верности религии и правящей династии. Парадокс состоит в том, что, будучи объективно новым явлением, всякая нация стремится предстать чрезвычайно древней. Версии национальной истории полны образов национального «пробуждения» и «возрождения» якобы извечно существовавших национальных общностей. Исследования истории национальных государств оказываются чрезвычайно востребованными: они более охотно, чем какие-либо другие, финансируются правительствами и поддерживаются активистами национальных движений. Версии национальной истории должны, с одной стороны, противостоять агрессивным поползновениям иных наций, доказывая изначальные территориально-политические права собственной на-

ции, а с другой – они должны противостоять сепаратистским движениям, показывая изначальную принадлежность к данной нации общностей, претендующих на автономию, «историческую неизбежность», «прогрессивность» их вхождения в данную нацию и, следовательно, несостоятельность их притязаний на сецессию. В этой версии одни факты должны помниться определённым образом, а другие подлежат забвению.

Далее, созданная версия национальной истории должна быть доведена до членов нации и усвоена ими. Нация — «воображаемое сообщество» (Б. Андерсон), существование которого предполагает объединение больших масс людей на значительной территории. Причём каждый из её членов никогда не увидит всей территории национального государства и не сможет встретиться даже с небольшой частью своих сограждан. Тем не менее, национальная идентичность предполагает существование у каждого члена нации образа исконно связанной с «родной землёй» гомогенной общности, объединённой единством языка (чаще всего) и исторической судьбы (обязательно). Эту задачу выполняет система образования. В ситуации, когда поддерживающая систему всеобщего образования национальная государственность отсутствует (как в польском случае), национальные движения создают альтернативные институты национального (в том числе и исторического) образования и предпринимают усилия по его официальной легитимации. Такой характер национальной истории позволяет говорить о ней как о форме культурной памяти в трактовке Я. Ассмана<sup>5</sup>.

Культурная память, по Ассману, представляет собой одно из внешних измерений памяти. Это — специфическая для каждой культуры форма передачи и осовременивания культурных смыслов, обобщающее понятие для всякого знания, которое управляет поступками и переживаниями в специфических рамках взаимодействия внутри определённого общества и подле-

---

<sup>5</sup> Концепция культурной памяти была разработана немецким египтологом на основе идей московско-тартуской семиотической школы Лотмана-Успенского. Систематически изложена в монографии, изданной в 1992 г. См. рус. пер.: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

жит повторяющемуся из поколения в поколение наставлению и заучиванию. Культурная память включает в себя «обосновывающие воспоминания», утверждающие законность и оправданность существующего порядка вещей. Она предполагает устойчивые объективации. Культурная память специально учреждается, искусственно формируется. Для её создания, хранения, трансляции в обществе создаются специальные институты и ритуалы. Она имеет сакральную окраску, ей присуща приподнятость над уровнем повседневности. Сохранение культурной памяти требует существования профессиональных носителей (шаманов, жрецов, бардов, поэтов, писателей, художников, учёных-историков и преподавателей). Приобщение к культурной памяти специально организуется и контролируется этими специалистами. Овладение культурной памятью всегда социально дифференцировано. Одни члены социальной общности или группы причастны к ней в большей степени, чем другие. Культурная память обосновывает идентичность группы, утверждает её устойчивое существование во времени.

Все сказанное выше позволяет трактовать национальную историю преимущественно как специфическую форму культурной памяти, адекватную задачам формирования масштабных идентичностей в условиях проникнутого идеей историзма социокультурного проекта Модерна<sup>6</sup>.

Культурная память может быть, по Ассману, *горячей* и *холодной*. *Горячая* – ориентирована на динамику, развитие. Она концентрируется на уникальном, неповторимом в истории, переломных моментах взлёта, упадка, становления. *Холодная* опция культурной памяти, напротив, призвана сопротивляться изменениям и поэтому обращается ко всему регулярно повторяющемуся, неизменному, создавая образ прошлого как *вечного настоящего*. При этом «холодная» память выполняет консервативную функцию поддержания и увековечивания существующего положения вещей. Поэтому становящиеся и борющиеся за право на существование нации (как, например, польская) более склонны актуализировать в своих национальных историях «го-

---

<sup>6</sup> Это, конечно, не исключает того, что в жанре национальной истории были достигнуты и выдающиеся научные результаты.

рячую» версию памяти. Культурная память в своей «горячей» опции имеет значение ориентирующей силы, «мифомотора». «Горячая» память – миф, целью которого является понимание настоящего и поиск ориентиров дальнейшего развития.

В этом качестве культурная память может выполнять две функции – *обосновывающую* и *контрапрезентную* (контрафактическую). В своей «обосновывающей» функции миф показывает прошлое как подтверждающее необходимость настоящего порядка вещей. «Контрапрезентная» функция связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к «золотому веку», «героической эпохе». Здесь настоящее критикуется с точки зрения «прекрасного прошлого», сравнение с которым раскрывает несовершенство текущего положения. В определённых условиях «обосновывающий» миф может превратиться в «контрапрезентный», а в экстремальных ситуациях (угнетения, обнищания, иноземного владычества) «контрапрезентный» миф становится революционным. Тогда образ прошлого, составляющий содержание такой культурной памяти, превращается в утопию и может стать целью движений мессианского типа. «Контрапрезентная память» характерна для наций, лишённых государственности и борющихся за её обретение. Наиболее характерным примером служит выраженная в историографической форме польская национальная память эпохи разделов (1795–1918 гг.), которая при всём многообразии перспектив видения прошлого оставалась всегда «горячей», ориентированной на динамику, на взлёты и падения страны.

Польская национальная историческая память (в том числе и в историографической форме) развивалась в первую очередь как ответ на *травму разделов*. Представляется, что концепт культурной травмы очень точно отражает польскую ситуацию после исчезновения государственности. Речь шла об обществе, обладавшем древней и мощной государственностью, стране, претендовавшей на гегемонию в Восточной Европе и исчезнувшей с политической карты в течение нескольких десятилетий. В традиционные модели историсофского смыслообразования это событие не вписывалось и породило культурный шок, который лишь постепенно преодолевался польским обществом при активном содействии исторической науки.

### Формы памяти и структурирование прошлого

В зависимости от типа выстраиваемой идентичности и решаемых задач, нарратив памяти по-разному организовывается и структурируется. Культурная память обладает собственной «грамматикой», набором устойчивых форм. Когнитивная социология культуры рассматривает, каким образом сообщества вводят в определённые рамки воспоминания своих членов – так, что присущее им видение прошлого является не столько индивидуальным, сколько социальным опытом<sup>7</sup>.

В образе прошлого есть «периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» коллективной памяти. Обозначая какой-то ряд событий в качестве однородных и принадлежащих одному и тому же периоду, коллективная память одновременно создаёт и исторический дисконтинуитет: выделяются определённые события, получающие статус «поворотных моментов истории», с которых начинается новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым. Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в различном образом упорядоченные нарративы. Одно и то же событие при этом может приобретать разное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно оказалось включено. События при этом ставятся в определённую взаимосвязь. Решение же этой задачи сразу же требует и решения *проблемы, связанной с выбором типа взаимосвязи*. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет включён тот или иной исторический сюжет. Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение и играют решающую роль для наделения определённого события тем или иным значением<sup>8</sup>. Повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упадка, циклизма, движе-

---

<sup>7</sup> Brekhus W. The Rutgers School. A Zerubavelian Culturalist Cognitive Sociology // European Journal of Social Theory. 10(3). 2007. P. 453.

<sup>8</sup> Э. Зерубавель пишет об этом так: «Я полагаю, что историческое значение событий существенным образом связано со способом их расположения в наших умах по отношению к другим событиям», с их «структурной позицией в рамках таких “исторических сценариев”, как “водоразделы”, “катализатор”, “последняя капля”». Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, 2003. P. 12.

ния от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого конкретного культурного контекста характерно преобладание нарративов определённого типа.

«Падение Польши», ее разделы были тем историческим событием, которое, создавая разрыв, структурировало исторические континуумы «до» и «после», а предшествующие и последующие исторические факты рассматривались и получали оценку по отношению к нему. В связи с этим возникает вопрос о том, в какие же сценарии они могли быть вписаны, какие образы прошлого могли быть из них сконструированы с тем, чтобы вновь придать смысл разорванной в результате травмирующего исторического сознание события?

### Дискурс травмы

Бывшее некогда исключительно термином из профессионального языка медиков и психологов, понятие травмы сегодня всё чаще используется социологами, историками и культурологами. Дискурс травмы, отмечает П. Штомпка, заменил в области теории социально-исторических изменений господствовавшие некогда дискурсы прогресса и кризиса<sup>9</sup>.

В работах современных исследователей сформировались разные подходы к пониманию культурной травмы. Дж. Александер разделяет их на *натуралистические* и *социокультурные*. «Натуралистические» подходы усматривают сущность травмы в качестве самого травмирующего события. Они могут быть подразделены на две версии – «просветительскую» и «психоаналитическую». Первая из них понимает под травмой рациональный ответ на травматическое воздействие, направленное на индивида или на группу<sup>10</sup>. Вторая переносит акцент на индиви-

---

<sup>9</sup> *Sztompka P. Cultural Trauma: the Other Face of Social Change // European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 3(4).*

<sup>10</sup> *Alexander J. C. Toward a Theory of Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity. L.; Berkeley, 2004. «Событие является травмирующим в силу своей экстраординарности. Оно создаёт разрыв и радикальные изменения в короткий промежуток времени. Национальная травма творится «индивидуальными и коллективными реакциями на событие, которое, подобно вулканическому извержению, потрясает самые основания социального мира» (Neal A. National Trauma and Collective Memory. N.Y., 1998. P. IX).*

дуально-психологические механизмы, опосредующие травмирующее воздействие. Источником травмы здесь может быть не только внешнее событие, но и возвращение памяти о подавленном негативном опыте<sup>11</sup>. Психоаналитические концепты «вытеснения», «возвращения вытесненного», «проработки» переносятся, таким образом, на социальные общности и культуры.

В рамках социокультурного подхода подчёркивается, что то или иное событие само по себе не является травматическим. Травмой оно становится только в рамках соответствующей интерпретации: «Культурная травма – это рана, нанесённая самой культурной тканью и интерпретированная культурой как таковая»<sup>12</sup>. Событие, которое может быть определено как культурная травма, – считает Н. Смелзер, – должно отвечать трём признакам: иметь негативное воздействие; быть представленным как непреодолимое; рассматриваться как угрожающее самому существованию общества, или разрушительное для его самых фундаментальных культурных оснований<sup>13</sup>. «Травма имеет место тогда, когда члены социальной общности ощущают, что они подверглись воздействию ужасающего события, которое оставило неизгладимый след в их коллективном сознании, навсегда оставаясь в их памяти и изменяя их будущую идентичность самым фундаментальным и необратимым образом»<sup>14</sup>.

Однако радикальные социальные изменения могут и не быть восприняты как травма. Для этого они должны быть соответствующим образом интерпретированы. Культурная травма возникает в результате «решения» социальных акторов воспринять определённые события как наносящие непоправимый урон их ощущению своего места в мире и в исторической перспективе. Польские историки XIX века будут удивляться тому, что разделы совершились сравнительно легко, без войн, длительно-

---

<sup>11</sup> Сущность травмы не может заключаться в некотором насильственном или экстраординарном событии индивидуального прошлого как таковом. Скорее она заключается в сопротивлении, которое это событие оказывает попыткам его психологической ассимиляции. *Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore, 1996.*

<sup>12</sup> *Sztompka P. Cultural Trauma... P. 458.*

<sup>13</sup> *Smelser N. J. Psychological Trauma and Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity... P. 44.*

<sup>14</sup> *Alexander J. C. Toward a Theory of Cultural Trauma... P. 1.*

го и ожесточённого сопротивления. Современники отмечали даже факты народных гуляний, сопровождавших разделы. Свои земли, писали удивлённые наблюдатели, поляки отдавали весело, с танцами. Восприятие широкими слоями общества факта утраты и отсутствия национального государства как трагедии было результатом определённой интерпретации событий. Эта интерпретация совершалась обладающими интеллектуальными, материальными и организационными ресурсами группами, а затем уже была передана широким слоям общества.

И. Рюзен, объединяя «психоаналитическую» и социокультурную перспективы анализа, определяет культурную травму как *катастрофический кризис*, который «разрушает структуру порождения смысла и препятствует её восстановлению таким образом, чтобы она могла выполнять те же функции, что и разрушенная»; «разрушает способность исторического сознания превращать последовательность событий в осмысленное и значимое повествование». Травма, ставящая под сомнение идентичность, это такое историческое событие, которое «уже просто тем, что оно произошло, разрушает... культурные возможности его помещения в исторический порядок времени...»<sup>15</sup>.

Разделы для польского самосознания, привыкшего рассматривать свою страну как оплот свободы, христианской веры, бастион европейской цивилизации, выполняющий великую провиденциальную миссию сохранения, защиты и распространения великих ценностей и идеалов Запада, стали именно такой культурной травмой. Понять и принять произошедшее было практически невозможно. Как могли просвещённые страны Европы пойти на такое преступление?! Как из спасенной в 1683 г. польской армией от турецкой осады Вены менее чем через сто лет могли исходить инициативы раздела родины спасителей?! Как могло случиться, что грезившая былым величием Польша оказалась настолько слабой?! Как могло дойти до того, что в её разделе участвовал её бывший вассал – Пруссия?! О разрывающей ткань национальной истории и создающей «мнемонические континуумы» культурной травме писал выдающийся российский историк Н. И. Кареев:

---

<sup>15</sup> Рюзен И. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времён»: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 41–43.

«...Катастрофа, случившаяся с Речью Посполитой, принадлежит к числу событий, проводящих резкую грань между периодами в историческом бытии народа. Бывают в жизни наций и государств эпохи крутого перелома, когда в сравнительно короткий промежуток времени сразу изменяются самые существенные условия культурно-социальной жизни, когда всему предыдущему подводятся итоги и начинается совершенно новая жизнь. Обыкновенно такие эпохи кризиса... делаются своего рода центрами историко-философского мышления: всё предыдущее развитие рассматривается с точки зрения процесса, приведшего к этому перелому, и из его сущности объясняются главнейшие явления последующей эволюции, так что от того или иного отношения к такой эпохе зависит в своих основах весь философский взгляд почти на всё целое национальной истории»<sup>16</sup>.

В каком-то смысле к разделам Польши можно применить те же положения, которые историки и философы XX века использовали, характеризуя значение Холокоста для исторического самосознания Европы. Это – «черная дыра» смысла, отрицающая любую попытку интерпретации события, поскольку оно само является разрушением и отрицанием основ той цивилизации, в системе значения которой эта интерпретация могла бы быть произведена. Национальной идентичности был нанесён тяжёлый удар. Общество как бы оцепенело. Постепенно наступит период «проработки» и осмысления травматического опыта, поиска путей восстановления исторического смысла и формирования национальной идентичности.

### **Историография и национальное самосознание**

Историография (как и литература) сыграла исключительную роль в процессах формирования и сохранения польского национального самосознания эпохи разделов. Борьба историографических (как и литературно-художественных) направлений была даже не отражением идейно-политической борьбы в польском обществе, а самой такой борьбой. Польская историческая наука складывалась в период утраты государственности, и этот факт наложил на неё неизгладимый опечаток. Польские историки того времени, за редкими исключениями, занимались преимущественно отечественной историей, при-

---

<sup>16</sup> Кареев Н. «Падение Польши» в исторической литературе. СПб., 1888. С. 2.

чем, вне зависимости от проблематики и периода, разделы Польши составляли для них общую перспективу смыслообразования<sup>17</sup>. Н. И. Кареев писал: «По всей польской национальной историографии XIX в. можно проследить влияние, какое оказали взгляды относительно причин гибели польского государства на различные построения всей польской истории»<sup>18</sup>.

Историография была призвана выполнить основные функции культурной памяти – легитимации и идентификации: объяснить и обосновать существующее положение и восстановить целостность национального самосознания, непрерывность восприятия себя в истории. Культурная (социальная) память тяготеет к двум типам событий – триумфальным и катастрофическим<sup>19</sup>. Триумфальными в польской национальной памяти запечатлелись XVI–XVII столетия, эпоха высшего могущества Речи Посполитой. Трагическим стал последовавший за разде-

---

<sup>17</sup> Что встречало иногда возражения в польском историческом сообществе. Так, историк Владислав Смоленский писал: «Принятие катастрофы упадка за исходный пункт рассмотрения прошлого по сути своей неверно и вредно для истории как науки. Факт упадка государства, существенный для истории последующего времени, без всякого на то основания был принят за основополагающий при изучении истории, предшествовавшей разделам. Факт упадка должен быть исходным пунктом для последующей истории постольку, поскольку он изменил условия дальнейшего развития. Так же, как в XIII столетии это сделали татарские набеги и немецкая колонизация, а в XIV – объединение с Коронной территорией Литвы и Руси. Однако мы не видим научных оснований для того, чтобы принимать его за путеводную нить при рассмотрении всего прошлого» (*Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce. Główne kierunki poglądów na przeszłość*. Wrocław, 1952. S. 145). Возражения эти, однако, ничего не меняли в общем положении вещей.

<sup>18</sup> Кареев Н. «Падение Польши»... С. 1.

<sup>19</sup> Цветан Тодоров отмечает, что коллективная память предпочитает сохранять ситуации, в которых можно рассматривать себя либо как героев-победителей, либо как невинных жертв (*Todorov T. L'homme dépassé*. Paris, 1996. P. 70-71). «Травма и триумф, – пишет Б. Гизен, – конституируют “мифомотор” национальной идентичности. Они представляют крайние границы опыта и предельный горизонт для самоопределения коллективного субъекта, так же, как рождение и смерть дают предельный горизонт для экзистенциального опыта индивида» (*Giesen B. National Identity as Trauma: The German Case // Myth and Memory in the Construction of Community*. Bruxelles etc., 2000. P. 229).

лами «долгий XIX век», век восстаний, страданий и борьбы за независимость, с окончания разделов в 1795 г. и фактически до конца коммунистической системы в 1989 г. События 1939 года и послевоенного устройства Европы, антикоммунистические выступления и движение «Солидарность» также вписывались в парадигму, заданную разделами.

Вся польская культурная память в перспективе гибели государства и последующих страданий приобрела трагически-жертвенную окраску. «Категория “жертвы” – ключевой концепт для понимания польского подхода к польской истории»<sup>20</sup>. Но понимание жертвенности может быть двояким: либо речь идёт о невинной жертве преступлений других, либо о жертве заслуженного наказания. События разделов могли создать фабулу как «оптимистической», так и «пессимистической» трагедии. Они могли оказаться главным событием истории духовного триумфа и нравственной победы «благородного белого орла» над орлами чёрными<sup>21</sup>. В этой перспективе сама военно-политическая слабость государства оборачивалась предметом гордости и воплощением особой миссии. В то же время, это могла быть история о заслуженной и закономерной расплате за ошибки, преступления, несовершенства социально-политического устройства, нарушение всеобщих законов истории и морали. «Польские историки, – писал Н. Дэвис, – были заняты в первую очередь историей разделов. Падение старой Польши, его причины и последствия, остаются и до сегодняшнего дня главной страстью польской историографии. ...Пророки гибели и продавцы надежды составляют здесь прекрасную пару»<sup>22</sup>.

### **Сарматский миф и национальная идентичность**

Рассмотрение польского исторического сознания и культурной памяти невозможно вне контекста идей и образов, выработанных в так называемую эпоху *сарматизма*, преимущественно в XVII веке, в период своеобразного «осевого времени»

---

<sup>20</sup> *Domańska E.* (Re)creative Myths and Constructed History: The Case of Poland // *Myth and Memory...* P. 257.

<sup>21</sup> Все государства-участники разделов – Австро-Венгрия, Пруссия, Россия – имели в своих гербах чёрных орлов.

<sup>22</sup> *Davies N.* Heart of Europe. The Past in Poland's Present. New York, 2001. P. 176.

формирования польской национальной идентичности<sup>23</sup>. Будучи одним из многочисленных средневеково-ренессансных этногенетических мифов, сарматизм утверждал особое «сарматское» происхождение шляхты и обосновывал её исключительное социальное положение и привилегии. При этом сарматизм сформировал базовые мифологемы и идеологемы, которые, будучи первоначально связаны с определённым сословием и конкретными историческими реалиями, позднее обрели самостоятельное существование и легли в основу национального самосознания. Польская национальная идентичность сложилась на базе идентичности шляхетской. «Если мы должны опереться на прошлое, – писал в начале своего профессионального пути выдающийся краковский историк Й. Шуйский, – то мы можем опереться только на шляхетское прошлое, ибо оно есть единственно и исключительно прошлое народа... Шляхта есть альфа и омега народа, ибо она одна обладает секретом ассимиляции нешляхетских и даже чуждых элементов...»<sup>24</sup>.

Отметим следующие «сарматские» идеи:

**Представление о Польше как «острове свободы»** в окружающем океане деспотизма. В XVI в. шляхте удалось утвердить своё исключительное положение: фактически власть в стране перешла к дворянству. Шляхта добилась монополии на право занимать церковные и светские должности, покупать землю, были ограничены права нобилитации и т.д. В 1505 г. была принята Радомская конституция *Nihil novi*. Король лишился права издавать законы без согласия Сейма. Всякие изменения законов и введение новых законодательных актов король был обязан согласовывать с двумя палатами Сейма (Палатой депутатов и Сенатом). Принципом работы Сейма стало обязательное единогласие при принятии решений (*liberum veto*). В 1573 г. состоялись первые выборы короля, в которых участвовала только шляхта. В деревне Камень под Варшавой Сейм избрал Генриха Валуа королём Польши. В Париже Генрих под-

---

<sup>23</sup> См.: Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002; Васильев А. Г. Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской национальной идентичности // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 184-215.

<sup>24</sup> Цит. по: Кареев Н. «Падение Польши»... С. 62.

писал условия занятия им престола, сформулированные Сеймом («Генриховы артикулы»), а также *pacta conventa* – особое соглашение выборщиков с претендентом. В 1592 г. состоялся «польский Уотергейт», Сигизмунд III был подвергнут суду Сейма после того, как были раскрыты его планы передать польскую корону Габсбургам. Сложился принцип, в соответствии с которым *rex regnat, sed non gubernat*. Вошло в обиход понятие *сарматской (шляхетской) золотой вольности*. Любые попытки реформ с целью усиления центральной власти воспринимались шляхтой как покушение на вольность и встречали сопротивление вплоть до мятежа – «рокоша» (*rokosz*). Сложившийся строй шляхетской демократической республики идеологами шляхты воспринимался как идеальный и богоданный, соответствующий классическим моделям, сочетающим элементы трёх форм правления – монархии (король), аристократии (сенат) и демократии (народ), а под «народом» в этой конфигурации понималось исключительно дворянство. Поскольку реальная власть в его руках, такой политический строй воспринимался идеологами шляхты как республиканско-демократический.

**Мессианская идея.** Польша осмысливалась как Новый Израиль, островок истинной веры среди моря православной, протестантской и исламской ереси; она воспринималась как «лучший из миров», постоянно испытывающий покушения внешних недругов, символически выражалась в образе «сарматского корабля-ковчега», противостоящего бурным волнам истории и дающего спасение находящимся на нём избранным, а также в образе твердыни, оплота, щита, передового рубежа обороны (*przedmurze, antemurale christianitatis*) истинной веры и цивилизации. События XVI–XVII вв. (военные столкновения и крупномасштабные войны с Турцией, Швецией, Московским государством, казачеством, Крымом) давали этой идее реальные основания. Апофеозом стала победа польской армии под командованием Яна III Собеского над турецкой армией Кара-Мустафы под Веной в 1683 г., когда Польша выступила в роли спасителя европейской христианской цивилизации. «Гермин *przedmurze*, – пишет Я. Тазбир, – принадлежит к числу понятий, которые сыграли существенную роль в развитии польского исторического сознания. В XVI и XVII вв. он соответствовал кон-

кретной действительности... Хотя в последующие века он и перешёл в категорию мифов, термин этот однако не утратил своего значения. Напротив, *przedmurze* сделало карьеру в период, когда государство, некогда одарённое этим наименованием, на долгие годы (1795–1918) исчезло с карты Европы», «в Польше в результате разделов, которые по многим пунктам изменили взгляд на прошлое, *antemurale* обогатило арсенал национальных мифов, став вместе с тем и одним из орудий борьбы за обретение независимости»<sup>25</sup>. Образ страны-крепости стал одной из устойчивых мифологем национального самосознания.

Католическая церковь подчёркивала роль Польши как оборонительного бастиона и распространителя истинной веры, для чего были в XVII в. определённые основания: Брестская уния, попытки подчинения Русской православной церкви, перспективы реставрации католицизма в Швеции. В сарматизме религиозный элемент имел в основном не теологическую, а политическую окраску воинствующей церкви эпохи Контрреформации. Идеи религиозного избранничества и миссии здесь тесно сплетаются с этно-сословной идентичностью «истинного сармата», образуя комплекс «поляк-шляхтич-католик».

**Идея исключительности и совершенства Польши.** Устройство Речи Посполитой представлялось настолько совершенным и уникальным, что ей не только вредно, но и невозможно что-либо у кого-то заимствовать. Образцом для нее могла быть только Римская республика, или же самый ранний, «пястовский» период польской истории. Политическая программа сарматизма в определённой степени повторяла римские идеи об изначальном совершенстве устройства государства, в котором какие-либо проблемы могут возникнуть только из-за отступления от принципов, завещанных предками. Основной тенденцией развития западноевропейских политических систем того времени была абсолютизация власти. Поэтому Запад представлялся как носитель чуждой и враждебной традиции.

**Идеал гражданина-борца за свободу,** сформировавшийся в эпоху сарматизма, в основных своих чертах напоминал ан-

---

<sup>25</sup> *Tazbir J.* Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa, 1987. S. 5, 142.

тичный. Гражданин-шляхтич, «истинный сын» Речи Посполитой, во-первых, должен быть политическим деятелем, сеймовым оратором, смело выступающим в защиту древних прав шляхетского народа. Если надо, то он должен быть способен с оружием в руках выступить против проявляющего тиранические тенденции короля. Во-вторых, это воин, защитник страны и веры. В-третьих, это земледелец-помещик, образцом для которого должны быть библейские патриархи и римский герой Цинциннат, менявший при необходимости плуг на меч, способный принять на себя ответственность за судьбу отечества и скромно удалиться в деревню, исполнив гражданский долг.

Этот комплекс представлений оказал существенное влияние на формирование образа польского гражданина в Новое время. Именно «военно-политические добродетели» были актуализированы в период разделов. Вот как пишет об этом один из современных польских исследователей: «...Свобода в целом понимается в польском сознании как участие в суверенном политическом сообществе, как публичные гражданские права, а не как защита прав человеческой личности в реализации её индивидуальных жизненных планов, особенно – экономических. Это также сильно отличает Польшу от Запада»<sup>26</sup>.

«Оптимистический» и «пессимистический» сценарии польской истории основывались на одних и тех же фактах, но помещали их в разную взаимосвязь. Если в рамках первого из них складывалась история польского величия, то во втором – совокупность причин упадка и гибели страны. Генезис «оптимистической» версии связан с синтезом идей «сарматского республиканизма» и «золотой шляхетской вольности» с концепцией «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.

В 1775 г., после первого раздела, граф Вельгорский опубликовал сочинение «О возвращении прежней формы правления на основании первоначальных законов Речи Посполитой». По его мнению, Польша исконно была и должна оставаться шляхетской с существенно ограниченной королевской властью. Польская история начиналась с истинного народовластия (правда, под «народом» у него подразумевалась шляхта). Все

---

<sup>26</sup> *Surdykowski J. Duch Rzeczypospolitej. Warszawa, 2001. S. 28.*

несчастья страны происходят от искажения древней республиканской конституции, которая не знала пагубного *liberum veto* и назначения должностных лиц вместо их правильного избрания. Спасение страны – в возвращении к мудрым заветам предков, к «первоначальной форме правления», соответствовавшей принципам истинного общественного договора и гармонизировавшей индивидуальные и общественные интересы.

Продолжение традиций «оптимистического» видения польской истории в XIX столетии связано с трудами выдающегося историка-романтика Иоахима Лелевеля (1786–1861). Философскую основу его построений составляли идеи о присущем каждому народу «духе», воплощающемся в его истории. Центральными субъектами исторического процесса Лелевель провозгласил социальные общности, а самой важной из них – нацию, обладающую особым «духом». Общеславянским социально-политическим идеалом является, по Лелевелю, верховенство общинной демократии (*gminowładztwo*). Концепция общинной демократии была основой взгляда Лелевеля на польскую историю. Он выводил эту традицию из общеславянской предыстории и противопоставлял «германское» и «славянское» понимание свободы. «Славянская свобода», в отличие от «тевтонской», была основана на миролюбии и терпимости. Именно славяне ввели само понятие свободы в европейскую культуру. На этом общеславянском идеале покоится и величие Польши. В истоках польского «народного духа» лежали идеи равенства и свободы. С глубокой древности демократия была естественным предназначением поляков. Эти ценности предопределили слабость политической организации страны и её грядущий распад. Однако в этой перспективе такая слабость становится не недостатком, а предметом гордости.

Членами польской нации, вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности, являются все люди, разделяющие ценности республиканизма, свободы, демократии, терпимости и братства. Таким образом, лелевелевское понимание нации сближалось с «французской» гражданско-политической моделью нациестроительства.

Польская история начинается со строя, основанного на крестьянской общинной свободе под защитой сильной цен-

тральной власти. После аристократической реакции XII–XIV вв. наступает своеобразный «ренессанс общинного духа», который на этот раз представляла шляхта. XV–XVI вв. (период роста влияния шляхты) для лелевелевской школы предстают «золотым веком» польской истории. Продолжатель дела Лелевеля Генрих Шмитт так изображает «шляхетско-сарматский» период польской истории: «Гражданское равенство, личная свобода, свобода совести и слова благоприятствовали... развитию. Гражданские доблести, любовь к отечеству, готовность к самопожертвованию и шляхетское равенство отличают тогдашнее польское общество»<sup>27</sup>. К моменту разделов Польша по уровню развития стояла выше многих европейских стран и призвана была возглавить движение за права и свободы личности. Однако, шляхта не исполнила своей исторической миссии по возвращению народу свободы, что и привело страну к упадку<sup>28</sup>.

Таким образом, причины гибели Польши, по Лелевелю, не в «вольности», а в недостаточном развитии этого фундамента «польского духа». В отличие от более ранних историков и публицистов сарматского направления, Лелевель возлагает вину за падение Польши и на шляхту, виновную в притеснении крестьян. Тем не менее, именно в «шляхетской вольности» он видел корни современной демократии и залог сохранения польской нации в период крушения государства. Время, предшествовавшее падению страны, изображается им как пора национального пробуждения и выздоровления, стремления вернуться к основам национальной жизни. Польша была уничтожена враждебными соседями накануне расцвета, когда реформы и принятие Конституции 1791 г. уже должны были в полной мере осуществить идеал всеобщей свободы.

Сами древние учреждения Речи Посполитой не ответственны за гибель государства. Причина была только в злоупотреблениях ими и в плохом исполнении законов. Гибель Польши произошла не от шляхетской анархии, а от сочетания агрессии соседних деспотических государств, негативного влияния ие-

---

<sup>27</sup> Шмитт Г. История польского народа. Т. II. СПб., 1864. С. 242.

<sup>28</sup> Парадоксальным образом в построенной на идее свободы концепции Лелевеля «золотым веком» Польши оказывался период закрепощения крестьянства.

зуитов на польскую внутреннюю жизнь и эгоизма связанных с иностранными державами магнатов, предававших страну во имя личных и семейных интересов. В любом случае, Польшу погубили внешние силы, действовавшие как изнутри, так и извне. Моральные же силы нации оказались несломленными. Гибели Польши Лелевель посвятил сочинение под названием «Царствование польского короля Станислава Августа Понятовского, обнимающее тридцатилетние усилия народа возродиться и сохранить существование и независимость». Гибель государства он изобразил как «оптимистическую трагедию»: польский народ «объявил всему миру, что приближаясь к падению, он возвращался после долгого оцепенения к жизни, показал, что в самом его падении начинается его быстрое возрождение»<sup>29</sup>.

В аналогичном духе спустя несколько десятилетий изобразит последние годы Речи Посполитой, попытки реформ на краю гибели государства, работу Четырёхлетнего сейма (1788–1792) и принятие Конституции 3 мая 1791 г. историк Йозеф Игнаций Крашевский (1812–1887):

«Спасение Польши, в условиях, в каких она находилась, быть может, было уже невозможностью, но перед гибелью лучше было дать столь прекрасный и благородный, столь смелый и юношеский признак жизни... Устав 3-го мая остаётся как бы завещанием Речи Посполитой, юношески, может быть, нерассудительным, но юношески благородным, великим и достойным уважения. Польша, благодаря ему, вписалась в книгу истории достойною своего прошлого, с протестом против господства силы над правом, насилия над духом, и если мы чем ещё живём, то наследием идей и чувств четырёхлетнего сейма и той святой години безумия, которая создала устав 3-го мая»<sup>30</sup>.

Вся польская история у Лелевеля – борьба за Свободу, за возвращение к естественным основам польской жизни. Польская история делилась на периоды Свободы и Рабства. Последний период Рабства, время разделов, должен был, по мысли Лелевеля, подготовить эпоху всеобщей победы Свободы, а Польша в этот период – исполнить миссию посланца Свободы

---

<sup>29</sup> *Lelewel J. Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1859.* Цит. по: *Капеев Н.* «Падение Польши»... С. 41.

<sup>30</sup> *Kraszewski J. I. Polska w czasie trzech rozborów (1772–1799). Studya do historyi ducha i obyczaju. T. II. Poznań, 1874. S. 443-444.*

ко всему человечеству. Польша слишком опережала по уровню своего социально-политического развития окружающие народы, в ней слишком рано развились демократические институты гражданского общества. Поэтому-то соседние деспотические абсолютистские режимы видели в Польше угрозу для себя и при соответствующем стечении внутрисполитических и внешне-политических обстоятельств уничтожили её.

В сочинении другого представителя «оптимистически-романтического направления» Валериана Врублевского «Слово польской истории» (1858–1860 гг.) делается однозначный вывод: сильная власть, несомненно, спасла бы страну, придала ей силы, вес и влияние, но... Польша перестала бы быть собой. Изменила бы своему высшему призванию. Шляхта была верна предназначению своей страны, она, а вместе с ней и вся старопольская традиция, не несут никакой вины за произошедшее.

Важную роль в оформлении «оптимистического» видения польского прошлого и будущего сыграла поэтическая историософия великого поэта-романтика Адама Мицкевича (1798–1855). Романтическое течение польской мысли иногда называют «концепцией Лелевеля–Мицкевича». В концепции Мицкевича польское национально-освободительное движение было вписано во всемирно-историческую перспективу борьбы за свободу как воплощение христианского идеала. Наиболее ярким выражением этих взглядов стали «Книги польского народа и польского пилигримства» (1832). В них распятие Христа и разделы Польши поставлены в одну эсхатологическую перспективу борьбы сил добра и зла. Польша (как и Христос) – воплощение идей свободы и веры. Польша была убита за то, что единственная в мире сохранила истинную веру, веру в Свободу и отказалась поклоняться идолам политических интересов. Рано и напрасно радовались её убийцы – европейские монархи. Торжество это было временным. Польше как «Христу наций» суждено Воскресение. Сохранившаяся душа вернётся в тело, и Польша воскреснет, освободив себя и другие народы.

«Школа Лелевеля» господствовала в польской историографии и общественной мысли несколько десятилетий (1820–1860-е гг.). Начиная с 1860-х, у неё появился сильный противник в лице «пессимистической» краковской школы, возлагав-

шей основную ответственность за распад государства на само польское общество. Однако в 1880-е гг. начинается неоромантический ренессанс идей «оптимистов». Один из создателей «оптимистической» Варшавской школы Тадеуш Корзон (1839–1918) отверг как научные положения, так и политические выводы краковской школы. Во «Внутренней истории Польши в царствование Станислава Августа» (1882–1886) он замечает, что Польша страдала не от республиканского правления, а от его «порчи». Корзон стремился очистить польское общество от несправедливых обвинений «пессимистов». Он не видел в Речи Посполитой кануна разделов никакого социально-экономического упадка. Стране не хватало просвещённого патриотизма, модернизации и упорядочивания государственного устройства, а её последнему королю – качеств национального лидера. Всё это было, по его мнению, в первую очередь результатом внешнего разлагающего влияния. Восстание 1794 года показало, что силы народа были вновь обретены. Восстановлению Польши помешало лишь несчастливое стечение обстоятельств. XIX век, по его мнению, показал здоровье польской нации, которая сумела выжить и развиваться даже при самых неблагоприятных внешних обстоятельствах.

Владислав Смоленский (1851–1926) не только впервые ввёл в опубликованной в 1886 г. работе «Исторические школы в Польше» понятие «краковская школа», но и выступил одним из её первых и наиболее решительных критиков. Взгляды «пессимистов» он считал односторонними, замечающими только недостатки и приписывающими всему народу пороки отдельных политиков. Речь Посполитая XVII в. была похожа на многие европейские страны эпохи Контрреформации. Её обскурантизм и религиозная нетерпимость не представляли собой ничего необычного в тогдашней Европе и не могут служить аргументом в пользу тезиса краковских «пессимистов» об ошибочном и отклоняющемся от общеевропейских тенденций пути развития страны в это время. Польша накануне разделов состояла не из одних продажных политиканов и безумных энтузиастов «древних шляхетских вольностей». Она дала миру выдающихся философов-просветителей, создала первое в Европе Министерство народного просвещения и т. д.

Работы Кароля Потканьского (1861–1907) и Шымона Ашкенази (1865–1935) ознаменовали зарождение неоромантической польской историографии, «школы национальной независимости» – теоретической основы польского движения за независимость в начале XX в. Историк международных отношений, Ашкенази, в противовес построениям краковских историков, вернулся к тезису о преимущественном влиянии внешнеполитических факторов на судьбы Польши. При этом он утверждал, что спасительным для Польши мог быть только союз с Пруссией, а не с Россией, и лишь непредвиденные трудности помешали этому плану и погубили Речь Посполитую.

В период возрождения надежд на восстановление польской государственности накануне и в ходе Первой мировой войны взгляды «пессимистов» перестали отвечать общественным настроениям. Свою основную задачу историки и публицисты стали видеть в том, чтобы перед лицом возможного восстановления государственности показать исконно нормальный европейский путь развития Польши, отсутствие в её истории аномалий, мешающих признать её естественным и необходимым элементом европейской политической конструкции – как в прошлом, так и в будущем. Возродились апологетические идеи о польской цивилизаторской миссии на Востоке, о Польше–защитнице европейского христианского мира, об опережающем развитии идеи свободы, прав личности и конституционной демократии в Речи Посполитой, о её гибели в результате вероломных объединённых действий более сильных соседей.

Начало новой фазы дискуссии «оптимистов» и «пессимистов» положил историк права Освальд Бальцер (1858–1933). В 1915 г. он опубликовал работу «О проблемах конституционного устройства Польши», в которой доказывал, что распад Речи Посполитой явился результатом внешней агрессии, а не неких «коренных пороков» польской государственности.

Таким образом, в рамках «оптимистического» направления была выработана мессианско-апологетическая версия польской истории, проникнутая трагическим героизмом. Поражения и национальные катастрофы рассматривались как результаты происков внешних сил, доказательства польского исторического избранничества, залог будущего воскресения и

славы. Польская миссия – в невинной и бескорыстной жертве, веками приносимой во имя христианской веры, идеи свободы и европейской цивилизации. Польша ничем не уступала другим европейским странам. Более того, она оказывалась воплощением Свободы Европы и всего мира. Историческая миссия польского народа – хранить, защищать и распространять Свободу наперекор деспотизму и варварству, не испытывая никакого комплекса неполноценности перед соседями.

Генезис «пессимистического направления» связан с воззрениями польских публицистов-монархистов XVIII века. Ещё в изданном в 1760 г. в Варшаве сочинении «Политический компендиум» французский дворянин на польской службе Сезар Пиррис де Вариль писал о том, что из всех европейских народов именно поляки лучше других сохранили у себя свободу. Однако свобода эта сложилась постепенно и не была исконной. Изначальная королевская власть Пястов была самодержавной и неограниченной. Польша страдает от аристократических вожделений, отсутствия твёрдых законов и сильной власти. «Это – настоящее чудо, что вы могли существовать столь долго в таком беспорядке»<sup>31</sup>, – заключает он. Идея о закономерности падения страны и станет своеобразным кредо «пессимистического» направления. Польша пала от нарушения общего закона, который никакое общество не может нарушить безнаказанно и который также был сформулирован упомянутым французским автором: «*nulla societas sine legibus, vanae leges sine auctoritate, nulla legum auctoritas sine summo imperio*»<sup>32</sup>.

Основоположник польской научной историографии епископ Адам Нарушевич (1733–1796) также принадлежал к «пессимистическому» направлению. Человек монархических убеждений, близкий королю Станиславу Августу, получивший от

---

<sup>31</sup> Цит. по: *Кареев Н.* «Падение Польши»... С. 9.

<sup>32</sup> Через сто лет один из корифеев краковской школы Юзеф Шуйский, как бы вторя ему, скажет так: «Каждый народ и каждое человеческое общество зависят от известных условий порядка, справедливости внутри и мощи извне, не удовлетворяя коим, они утрачивают силу развития, независимость и свободу. Не освобождает их от этих условий никакая высшая идея, хотя бы самая возвышенная...» (*Szujski J.* *Dzieje Polski*. Т. IV. *Łwów*, 1866. S. 723).

него звание историографа Польши, Нарушевич в конце XVIII в. написал семитомную «Историю польского народа» (первый том вышел в 1786 г.). Он идеализировал древний период «пястовского самодержавия», когда под мощной властью поддерживалось единство сословий, отсутствовали шляхетские своеволие и произвол. После Пястов польский политический строй, по его мнению, деградировал. Период до начала династии Ягеллонов в 1386 г. Нарушевич считал лучшим в истории страны (именно до этого времени и была доведена его «История»). Все бедствия страны происходят от ослабления королевской власти, подчёркивал он. «Золотая вольность», восхваляемая сарматскими идеологами и их романтически настроенными последователями, виделась ему ничем иным как феодальной анархией. Положение страны после «золотого века Пястов» непрерывно ухудшалось, власть королей слабела, переходила сначала к аристократии, от неё – к шляхте, что в итоге привело страну к катастрофе. Чем глубже мы уходим в историю, отмечает епископ Нарушевич, тем более сильной мы видим королевскую власть. С приближением к современности она слабеет. Выборность королей и периоды бескорольевья погубили государство. Указав на причины слабости и гибели Польши (немошь правительства, привилегии одного класса, недостаток порядка и социальной гармонии), Нарушевич, как подчёркивает один из исследователей его творчества, задал «повестку дня не только для польской историографии, но и для самой польской нации»<sup>33</sup>.

В 1809 г. Варшавское «Общество любителей наук» опубликовало «Проспект истории польского народа», составленный Станиславом Потоцким и прелатом Пражмовским, а также «Краткий очерк истории польского народа». В основе «Проспекта» лежали идеи Нарушевича. Один из представителей этого интеллектуального круга, поэт, писатель, историк, автор трёхтомной «Истории правления Сигизмунда III» (1819), Юлиан Нимцевич (1758–1841) выразил идеи направления в поэтической форме. Основной мыслью его «Исторических песен» (1816), пользовавшихся большой популярностью, было

---

<sup>33</sup> Stanley J. D. Adam Naruszewicz (1733–1796) // Nation and History... P. 33.

то, что величие Польши возможно только при сильной монархии. В заключении «Песен» он поместил «Мысли об упадке и характере польского народа». Основную проблему Польши он видит в политическом преобладании шляхты над народом, с одной стороны, и над королевской властью, с другой.

Школа Нарушевича господствовала в польской историографии до 1820-х годов, уступив затем на несколько десятилетий главенство противоположному «направлению Лелевеля-Мицкевича». Близкие к Нарушевичу взгляды продолжали развиваться после поражения Ноябрьского восстания 1830–1831 гг. в эмигрантских кругах близких к Адаму Чарторыйскому. Становление «краковской исторической школы» в 1860-х гг. стало своеобразным возрождением «школы Нарушевича». Признавая Лелевеля «титаном польской историографии» (М. Бобржинский), представители школы, тем не менее, считали его исторические построения плодом не столько научной мысли, сколько романтического мифотворчества и политического доктринёрства<sup>34</sup>. Школа сформировалась в Галиции, на территориях бывшей Речи Посполитой, вошедших в состав Австро-Венгерской империи. В 1860-е гг. здесь была проведена серия реформ, австрийские власти отказались от политики германизации, была введена галицийская автономия. Среди всех бывших польских владений эти земли пользовались наиболее широко, со времен падения Польского королевства, правами политической и культурной автономии. Польский язык был введен в

---

<sup>34</sup> Любопытно, что при всей критике сарматско-романтического видения прошлого, краковские мыслители по-своему также использовали данный комплекс идей. В австрийской монархии им виделось отражение свойственных Польше ягеллоновского периода ценностей терпимого полиэтничного государства, открытого миру, служащего *przedmurzem*, передовым рубежом обороны европейской цивилизации и католической веры (от «дикой азиатской России» – в первую очередь). Один из основателей школы Ю. Шуйский говорил об особой миссии Польши в противостоянии «германизму» и «ориентализму», о её «цивилизационной молодости» и аномальном, как следствие, пути развития. С XVI в. Польше пришлось пойти своим особым, отличным от Запада, путём. Самое молодое католическое государство ценой собственного развития защищало Европу от натиска ислама и византийского православия и было ею вероломно уничтожено, как только надобность в защите отпала.

систему образования, польско-язычными были Львовский и Краковский университеты, использовался он также в судах и органах власти. Была введена должность министра по делам Галиции в имперском правительстве. Должность наместников Галиции занимали поляки из представителей консервативной партии. Министра по делам Галиции и наместника края император назначал по согласованию с польскими депутатами Венского парламента. Галиция становилась центром легального польского национального движения, «польским Пьемонтом».

Опыт неудачных восстаний (в первую очередь, недавно потерпевшего поражение Январского восстания 1863-64 гг.) побудил ряд мыслителей и общественных деятелей Галиции к переосмыслению польской истории. Они пришли к выводу о необходимости радикального разрыва со ставшей уже своего рода «национальной святыней» лелевелевски-мицкевичевской традицией и с основанной на ней апологией заговоров, восстаний, жертв и страданий народа. В 1869 г. на страницах «Польского обозрения» лидеры краковских консерваторов – Юзеф Шуйский, Людвик Водзицкий, Станислав Тарновский, Станислав Кожьман – опубликовали серию анонимных текстов с критикой радикального патриотического движения. Сборник из 20-ти памфлетов в форме писем назывался «Папка Станьчика» (TeKa Stańczyka), по имени знаменитого шута Станьчика (1480–1560), служившего при дворе королей Александра, Сигизмунда Старого и Сигизмунда Августа. Его образ был увековечен великим польским живописцем Яном Матейко, близким к кругу краковских консерваторов, и служил для них образцом политической мудрости. Так представителей краковского направления стали называть «станьчиками».

Школа имела сильные позиции в науке, политике и системе образования. Её представители (Ю. Шуйский и С. Смолка) десятки лет, с момента её основания в 1869 г., возглавляли единственную на территории бывшего Польского государства кафедру польской истории Ягеллонского университета (Шуйский, а затем Смолка, были его ректорами). Шуйский был депутатом Сейма Галиции, членом Палаты пэров австро-венгерского парламента. Другой крупный представитель направления, историк М. Бобржиньский также был депутатом местного и общеимпер-

ского парламентов, заместителем председателя Школьного совета Галиции, губернатором Галиции (1908–1913) и министром по делам Галиции имперского правительства в Вене. Вот как характеризует наиболее существенные положения краковской школы один из ведущих современных польских историков:

«Станьчики начали большую общенациональную дискуссию на тему облика и поведения поляков в прошлом, на тему отношения к старой Речи Посполитой и к государствам – участникам разделов. В соответствии с положением краковской исторической школы..., польская шляхта была повинна в гибели своего государства, а государства, разделившие Польшу, ...лишь воспользовались представившимся им случаем... Шляхта... была виновна в своей судьбе не только в конце XVIII в., но и в первой половине XIX, когда не смогла должным образом воспользоваться теми правами и свободами, которыми обладала в Польском королевстве, на территориях России и Пруссии. В своих политических начинаниях она не руководствовалась разумным политическим расчётом, не смогла прочесть знаков истории, действовала вопреки здравому рассудку. Значит, врагами Польши и поляков были как раз те, кто громче всех кричали о своём патриотизме и во имя патриотизма ввергали страну в потоки крови и страдания. Врагами были те, кто, организуя авантюрные восстания, вызывали репрессии и цивилизационный упадок страны. Станьчики отвергли миф о Польше – жертве истории и признали историческую ответственность страны за произошедшее с ней»<sup>35</sup>.

Здесь, как и у «оптимистов», историческая мысль тесно связана с современностью. Неверное понимание истории консерваторы считали источником пагубной политики. Трезвый, лишённый романтически-мессианских иллюзий, взгляд на прошлое должен был стать основой для разумной национальной стратегии. Идеи «пессимистов» коррелировали со взглядами на польскую историю официальных историографий стран – участниц разделов. Это, естественно, навлекало на них упреки в антипатриотизме со стороны «оптимистов». Однако сами представители краковской школы считали в высшей степени патриотичной работу по освобождению нации из плена величайших, но ложных, мешающих развитию иллюзий.

Школа проделала определённую мировоззренческую и теоретическую эволюцию. В начале своего творческого пути (1860-е гг.) Юзеф Шуйский (1835–1883) ещё сочетал в своих

---

<sup>35</sup> Chwalba A. Historia Polski. 1795–1918. Kraków, 2001. S. 518.

взглядах элементы «оптимизма» и «пессимизма», говоря о том, что ошибки и грехи польского общества не могут оправдать агрессии соседей. «Аморальный XVIII век» не мог не уничтожить Польшу, следующее столетие должно её возродить, подчёркивал он. Постепенно (на протяжении 1870-80-х гг.) взгляды историка все больше удалялись от романтической апологетики польского прошлого. Преждевременное развитие в неподготовленном для этого обществе конституционно-парламентских институтов и вызванная ими внутренняя слабость, моральный упадок и анархия выдвигаются им на первый план в объяснении причин распада государства.

Основатели школы священник Валериан Калинка (1826–1886) и профессор Шуйский основной акцент при объяснении причин падения страны делали на категории греха, провиденциального воздаяния, искупления и очищения. У представителя же новой генерации школы, Михала Бобржиньского (1849–1924) мы встречаемся уже с объяснениями в духе позитивизма и социал-дарвинизма, с влиянием идей Спенсера и Бокля. На первом плане для историка, по мнению Бобржиньского, должны стоять политические интересы нации<sup>36</sup>, которую он изучает, а не моральные оценки. Для Польши эти интересы в первую очередь связаны с ценностями сильной власти, дисциплины, иерархии, элитизма и социальной гармонии. Именно они призваны дать народу наибольшие шансы во всеобщей и беспощадной «борьбе за существование»<sup>37</sup>. Таким образом, причины падения страны, по мнению представителей краковской школы, заключаются не в политике соседей и не во внешних обстоятельствах, а лишь в самом польском обществе.

Основным объектом критики «краковской школы» был тезис, изложенный политическим мыслителем Гуго Коллонтаем и его единомышленниками в книге «Об установлении и падении конституции 3-го мая» (1793). Они утверждали, что польский народ в лице Сейма, принявшего новую Конституцию 3 мая

---

<sup>36</sup> В отличие от ранних представителей краковской школы, Бобржиньский не ограничивает польскую нацию одним дворянством.

<sup>37</sup> Отказ Бобржиньского от моральных оценок в пользу «права сильного» и «борьбы за существование», симпатии к деспотическим режимам и крайний пессимизм вызывали критику среди его краковских коллег.

1791 года, сделал всё возможное для Отечества. В гибели государства виновны лишь король, отдельные советники и изменники в союзе с вероломными и коварными соседними державами: «Без всякой вины со своей стороны, не дав соседям ни малейшего повода к мести или вражде, падает Польша в то самое время, когда приготовила всё для своего счастья!»<sup>38</sup>. Мы пали по своей собственной вине, подчёркивал Калинка, мы сами упрашивали прийти иностранные правительства. Народ заслужил своё наказание, ему теперь необходимо поучение и отрешение от романтической мегаломании и нравственной порчи во всех слоях общества, ибо по-своему виновны были все сословия. Имея в виду Сейм, Калинка отмечал, что никакое общество не может жить с правительством из нескольких сотен человек, собирающимся раз в два года. Единственным практическим результатом Четырёхлетнего сейма, бывшего в глазах «оптимистов» великолепным прощальным жестом умирающей Речи Посполитой, Калинка считает «несколько томов печатной макулатуры»<sup>39</sup>. Поляки в принципе разучились жить в условиях сильной и эффективной власти, у них атрофировались способности к дисциплине и повиновению. В вакууме власти появление иностранного правления было неизбежно.

«Внутреннюю анархию» и «эгоистическую деморализацию общества» (то, что «оптимисты» называли «духом свободы» и предметом польской гордости) Шуйский считает важнейшими факторами упадка страны. Об отношении своего направления к предшественникам-романтикам он писал: «За эпохой, в которой апология была главным знаменем польской историографии, наступает другая, когда среди серьёзных работ, среди всё более растущего исторического материала, рушатся прежние апологетические системы, а прошлое должно выступать в свете сравнительного метода и общих законов, познаваемых из исторического опыта. ...Направление это положило конец несчастному и столь долговременному заблуждению – защите и апофеозу анархической Польши»<sup>40</sup>. Суровой критике

---

<sup>38</sup> Цит. по: *Кареев Н.* «Падение Польши»... С. 27.

<sup>39</sup> *Kalinka W.* Sejm czteroletni. T. I. Łwów, 1880. S. 573.

<sup>40</sup> *Szujski J.* Historji polskiej ksąg dwanaście. S. 383. Цит. по: *Кареев Н.* Указ. соч. С. 62.

подвергалась свойственная романтическому направлению «национальная мегаломания» и «суицидальные наклонности»: «Из одного из самых младших народов, выступивших на арену цивилизации европейского Запада, мы стали в собственных глазах народом, опережающим весь Запад развитием у нас конституционных и республиканских форм; из ошибок и заблуждений политической мысли мы свили себе идеальные лавровые венки, очень вредные»<sup>41</sup>. Беда Польши заключалась в том, что и после катастрофы национальное сознание не отреклось от романтической мифологии и продолжало, с самыми плачевными последствиями, пытаться строить на ней реальную политику. При этом *liberum veto* лишь было заменено на *liberum conspire* – свободу составлять заговоры и организовывать восстания. Польша, подчёркивал Бобржинский, уверовала, что она одна может существовать без сильного государства, ценности, ради которой другие народы приносили кровавые жертвы. Без сильной военной и бюрократической системы у польской нации не было шансов в европейской «борьбе за существование». Вышедший в 1879 г. «Очерк истории Польши» Бобржинского вызвал большой общественный резонанс, поколебав все сформированные десятилетиями у широкой публики представления о польской истории, основанные на идеалах шляхетской «вольности».

Истинная свобода как право свободно мыслить и действовать в пределах закона, установленного и защищаемого сильным государством, и не существовала в шляхетской Польше. Шляхта лишь поверхностно усвоила фразеологию свободы и равенства, применяя эти принципы только к своему сословию и совершенно упуская необходимо дополняющие их принципы подчинения власти и исполнения обязанностей. Поэтому, подчёркивал Бобржинский, Польша и оказалась беззащитной перед лицом растущих централизованных абсолютистских режимов в соседних странах. Все факторы, выдвигаемые в качестве причин падения Польши, подчёркивал он, имеют второстепенное значение. В других странах они тоже имели место, иногда даже в более тяжёлых формах, но не приводили к фатальным последствиям, так у них были сильные правительства. В Поль-

---

<sup>41</sup> *Szujski J. Dzieje Polski. T. IV. S. III.*

ше «оздоравливающего фактора» сильной государственности не было. Поэтому она погибла: «Сила и упругость правительственной власти» не менее важны для здоровья общества, чем свобода». Отсутствие сильной центральной власти – главная беда Польши, проблема, нараставшая с рубежа XV–XVI вв. вместе с развитием «золотой вольности». Власть не переходила от короля к Сейму. Сейм тоже оказался бессильным. Она ушла из страны вообще. И другого пути, кроме гибели, у польского государства не было. В этой перспективе предшествовавшие разделам попытки России установить своё полное господство над Польшей и ввести устойчивые органы власти рассматривались краковским историком как благо для страны.

Таким образом, истоки гибели страны краковская школа видит как раз в том историческом периоде «золотого века» шляхты, закрепления прав и привилегий благородного сословия, формирования «сарматской республики», который Лелевель и другие романтики считали её высшим расцветом.

Романтическая картина великолепной Речи Посполитой, которая была слишком хороша для того, чтобы выжить в недостойном её мире, сменяется в работах «пессимистов» образом анархии, отсутствия всякой организованной власти и политической воли, образом общества, с которым ничего другого, кроме учреждения над ним внешней опеки, и не могло случиться. Детравматизация достигается здесь через «нормализацию» того, что произошло в последней трети XVIII века с Речью Посполитой. Разделы – совершенно закономерный и естественный итог почти трёхвекового исторического процесса.

\*\*\*

Итак, на протяжении «долгого польского XIX века» «язык исторического смысла» был обретён, ткань истории вновь сшита. При этом были выработаны две модели детравматизации национального сознания. Гибель страны выступала в одном случае как «оптимистическая трагедия» общества, опередившего своё время, но самой своей обречённостью выполняющего великую всемирно-историческую миссию и несущего свет всему человечеству. В более умеренно-позитивистской версии «оптимистического» подхода обосновывалась мысль о том, что польское общество не представляло никакой аномалии разви-

тия, нарушения общих законов социально-политической динамики. Поэтому распад государства был результатом насильственного внешнего вмешательства. «Оптимистическая» версия была «контрапрезентной», она концентрировалась на образах величия Речи Посполитой и отказывалась принять нормальность существующего в период разделов положения вещей. В другом, «пессимистическом» сценарии травма снималась путём показа неизбежности произошедшего, призыва извлечь из этого уроки. «Пессимистическая» историография (если снова использовать терминологию Я. Ассмана) имела «обосновывающий» характер. Она стремилась нормализовать национальную идентичность, говоря о коренных пороках социально-политического устройства страны, которая закономерно шла к своему трагическому финалу с самых ранних периодов истории, не замечая за мнимыми триумфами неизбежности конца.

Конкретно-историографическим преломлением дилеммы национального оптимизма / пессимизма стала дискуссия о преимущественном влиянии внешних (оптимизм) или внутренних (пессимизм) причин гибели страны.

События польской истории, организованные в «мнемонический континуум» разрывом разделов, дали основания для написания двух разных сценариев одной исторической драмы. «Оптимисты» рассказали историю о злодейском, умышленном убийстве могучего, красивого (или, как минимум, совершенно нормального и равноправного) героя европейской истории вероломными соседями. «Пессимисты» показывали драму мучительного умирания безнадёжного больного, не понимавшего всей серьёзности своего состояния, страдавшего бредом и считавшего себя полным сил и здоровья, угрожавшего всем заражением и вынудившего окружающих принять срочные меры, ввести карантин, учредить опеку, постараться объяснить ему причины недуга и убедить его помочь в собственном излечении. До сих пор польская национальная идентичность существует между заданными некогда усилиями интеллектуалов экстремумами «мемориального пространства», актуализируя то одну, то другую его сторону в зависимости от внешних обстоятельств и актуального состояния польского общества.